

## ОНИ



МАРГАРИТА ШИЛНИНА  
Родилась в 2003 году  
в городе Абанане. Студентка  
Литературного института  
имени Горького (семинар  
прозы Р.Т. Ниреева), участниц  
литературной мастерской  
«Мир литературы. Новое  
поколение» по направлению  
«Проза» (семинар В.Г. Попова  
и Н.А. Грозной).

«— И представляешь...

Он не представлял. Он не представлял, как ему теперь жить, как ему жить после того, как он умер, после того, как он сгорел, после того, как его веру и любовь, веру в любовь и любовь к вере расстреляли. Они поставили их у стенки, зачитали приговор, и пули раздробили их прозрачные, полупрозрачные тела, они и так еле-еле цеплялись за жизнь, но нет! Этой жизни было недостаточно, эта еле-еле жизнь была все же жизнью, а им нужна была их смерть, окончательная и бесповоротная. У него отняли самое главное, самое светлое и сказали: “Ну вот! Теперь ты знаешь, что такое страдания! Теперь ты знаешь, что такое жизнь! Прими наши поздравления!” Прими свою первую смерть, прими свое первое отчаяние, прими... Он принял, он повзрослел, он многое понял, но благодарность? Благодарности он не испытывал, что же, ему надо было сказать: “Как здорово! Теперь я могу говорить о чем-то серьезном!” Теперь он мог говорить о чем-то серьезном, но лучше бы он дошел до этого не так, за что же так?

Хотел хлебнуть жизни и захлебнулся, хотел хлебнуть жизни, теперь откачивай его, теперь пусть откашливается, но даже в откашливании — кровь, захлебнулся и забыл, как дышать, теперь только жалкие судороги и вдохи-вдохи-вдохи, как же так получилось, что же я наделал, помо-

гите, господи, помогите, я не хотел, я не хотел этого, я хотел другого, да я ведь просто хотел любви, я хотел любви, понимаете, да разве это плохо, да кто ее не хочет, кто?

— Ну и он мне говорит...

Почему ему никто не говорил, что люди не умеют играть с чувствами, а чувства с людьми умеют — еще как? Почему никто не предупредил его, чем все это закончится, почему никто не закричал ему: “Одумайся, дурень!”, почему, если кто-то и закричал, он не услышал, почему, почему, почему? Потому что ослепляет, оглушает любовь, потому что влюбленный человек — не совсем человек, потому что никакие крики не остановят его от прыжка, там кричи не кричи, только самому выкарабкиваться, выкарабкиваться и смеяться: “О, нет безумнее меня человека, я безумец, я — идиот! Но я ведь не идиот, я не безумец, я просто хотел...” И рыдать, рыдать, потому что даже смех не помогает, потому что если есть смех, то он истеричный, смех сквозь рыдания — хуже просто рыданий.

— Ну так что?

— Что?

— К тебе или ко мне?

Она была красива, она была умна, насколько позволяет судить об уме пара встреч, но ему этого было мало, ему нужна была глубина, что глуби-

на – болото, ему нужно было болото! Болота в ней не было, а в другой ней, в той, которую он любил до того, что... Не будем о том, до чего он ее любил, важно лишь то, что после того, как она ушла, он не смог любить никого другого, только ее, но она ушла, растоптала его, раз – и... Раздражала она его! Вначале она (та самая) его раздражала, он не хотел подпускать ее ближе, чувствовал, что она съест его, съест и не подавится, но он поддался, дал слабинку и подпустил ее, пропустил в самое незащищенное, оголенное место – в свое сердце.

– Леш, ты слушаешь меня вообще?

– Да, слушаю.

Он в самом деле слушал, но не слышал, не слышал никого и ничего, утопал в своих воспоминаниях, его воспоминания – да, они с ним разговаривали, а живые люди, живые женщины – кем они были для него? Они были, но не были для него, как не могло быть его для них, ведь он был лишь для нее, но ее не было... Замкнутый круг, в еще более замкнутого человека он превратился, на двери в его сердце вывесили замок, зачем он был нужен – что скрывалось за дверью? Пустыня, выжженная солнцем, она была его солнцем и спалила все дотла, дотемна, теперь в сердце вечные сумерки, не ночь, но ее предвестник. Как страшно ему стало жить! Он ведь превозмогал, он ведь побеждал все до этого, но эту битву он проиграл, и она стала в войне решающей: он поднял белый флаг, он сдался, сдали его нервы. Кто-то мог посмеяться: “Наивный мальчик, что же ты на себя взвалил?”, и насмешка та была бы безжалостной, безжалостной, но справедливой. Тяжелый крест? Тащи. Подкашиваются ноги? Терпи. Упал? Вставай, вставай и иди, иди и смотри.

– Так к тебе или ко мне?

– Давай к тебе.

Зачем, ради всего святого, если то святое было, ведь все святое для него превратилось во все кошунственное, зачем он соглашался куда-то ехать? Она будет смотреть на него заискивающе, она будет его целовать, а его будет подташнивать от этих поцелуев, ему будет хотеться в душ, чтобы отмыться от ее прикосновений, он заметит трещинку в уголке глаза, заметит волосок на большом пальце ноги, да он заметит все то постыдное, что в ней есть! Какая любовь, какое влечение, когда чувства – сплошь отвращение? Он ненавидел, ненавидел себя за то, что так любил, ненавидел ее (ту самую) за то, что она не ответила ему взаимностью, ненавидел того, кого

она любила, не-на-ви-дел. Или не ненавидел, но не мог простить? Хотя виноватых не было. “Почему мир так несправедлив? Ведь я испытывал что-то совершенно беззаветное!”

Какова рифма между “беззаветным” и “безоветным”, таков и мир.

Он готов был на подвиг, на уступки, на изменение мира, на изменение себя, на что он только не был готов, и что же – кому это все было нужно? Никому. Хочешь – меняйся, хочешь – меняй как перчатки, хочешь – изменяй, жизнь твоя, что хочешь, то и делай. Он хотел быть любимым той, которую любил, а это был наглый, невыполнимый и даже немислимый запрос.

– Суши или пиццу закажем?

– Да, давай закажем.

Какими же нелепыми, какими же не такими были они после нее! Они не были ей – это было достаточно, чтобы попасть в разряд “не таких”. Он утешал себя: все еще впереди, истинно все, ведь он молод и не некрасив, и неглуп, и нечерств, хороший человек так-то, если подумать, – человек, каких поискать. За какие такие грехи выпало ему это страдание? Или был он подобен Иову – страдание во имя страданий?»

Алексей перечитал написанное и подумал: не переборщил ли с Иовом? Много описаний, но никакого сюжета, много рассуждений, но для чего? Подумал и решил: ничего страшного, не переборщил, отлично передал состояние героя. Подумал: ничего, что назвал героя собственным именем? Подумал и решил: ничего, у Ерофеева вон тоже Веничка, и никто ему за то не предъявляет, а сюжет... Ну, сюжета и впрямь стоит добавить.

«Когда они подходили к ее дому, она – подходила, а он – подплетался, дверь распахнулась, и... И, конечно, перед ними встала она (та самая), белокаменная статуя, богиня греческого пантеона, она, овеянная тысячами солнц, даже фамилия у нее была такая – световая! Он бросился ей в ноги, вырвал сердце из груди своей и закричал: “Если ты хочешь убить меня еще раз – давай! Принимать смерть от тебя лучше, чем изображать любовь с ними! Разрывай меня на части – давай!” Она (та самая) не произнесла ни слова, но на ее глазах выступили слезы, она аккуратно взяла его сердце, которое билось, несмотря на то что было пустыней, погруженной в сумерки, и вернула его на место. У нее не было ни нитей, ни иголок, одно ее прикосновение зашило ему грудь. “Воистину вы безумец...” – сказала она с такой нежностью, с таким сочувствием, будто бы целовала в лоб, но

это было что-то, во много превосходящее поцелуй, его разодранность будто назвали уникальностью, и от этого она перестала так нещадно саднить. “Простите меня, я... я...” – он не знал, что добавить, все слова покинули его, показались неточными и даже пошлыми, истинность ожила в недосказанности.

Другая она, та, к дому которой они подходили, испарилась, ее в буквальном смысле не стало, что ее – мира не стало, только он и...»

Ну в этом же совершенно никакого действия! Да и видели ли вы когда-нибудь, чтобы человек выдирает сердце из груди? Что за куприновское: «любовь должна быть трагедией»? Какая недо-стоверность! Сцену следует переписать, сделать более реалистичной, потому что начало хорошее, а эта сцена и вполтину не так хороша!

«Когда они подходили к ее дому, она – подходила, а он – подплетался, дверь распахнулась, и... И, конечно, перед ними встала она (та самая), в коротком черном платье, подол которого еле-еле скрывал бедра, а горловина оголяла ключицы. А ведь по этим ключицам кто-то игриво проводил языком, кто-то свободно целовал их... О, это было выше его сил! Он пошатнулся, оперся о поручень и часто-часто заморгал, в глазах двоилось. “Вам плохо? Что с вами? Может быть, воды?” Она распахнула свою сумочку, а он понял, что завидует даже ее сумочке! Неодушевленный предмет, со-дранная с кого-то кожа, заваленная автобусными билетиками месячной давности, а он хотел быть ей! Хотел, потому что сумочка принадлежала ей, а он ей не принадлежал, он не принадлежал никому, даже Богу. Нужен ли он был Богу или он разгневал его до того, что тот, подобно его настоящему отцу, ушел за хлебом и не вернулся? “Со мной все хорошо, все хорошо, не нужно ничего, спасибо...” Он замотал головой, и она, получше его разглядев, удивилась: “Леша? Что ты тут делаешь?”»

Ну вот, уже поспокойнее, уже получше! Но все еще какой-то отзвук недо-стоверности, разве может стать человеку плохо от своих мыслей?

«Когда они подходили к ее дому, она – подходила, а он – подплетался, дверь распахнулась, и... И, конечно, перед ним встала она (та самая), от которой он, увидев, отвернулся, потому что пытался забыть ее уже целый год, потому что стоило ему ее рассмотреть, как он постыдился бы своего чувства – кого это он пытался забыть целый год? Ее, да неужели ее? Там трех дней хватило бы, романтик несчастный! “Леша? Привет! Что

ты тут делаешь?” – спросила она, и он, все еще не поднимая взгляда, ответил: “Да так... А ты?”, а она: “Да я живу тут, ну ладно, я пойду, бежать надо, приятно было увидеться”, и он не почувствовал ничего, совершенно ничего, совершенно чужая девушка, с которой он когда-то точно так же пересекся, но почему-то присудил ей звание “любовь всей жизни”.

– Сорок третья квартира.

– Понял.

И поднялись они по ступенькам, и оттаяло его сердце к другой ней, и стала она той самой, и не спал он ночами из-за нее, не спал ночами с ней, все было как у людей: никто не стыдился быть собой, разговоры велись не пустые, а задушевные и...»

Хороший конец – это хорошо, но правдивый конец лучше, жизнь – это не «и родилось у него семь сыновей и три дочери, и прожил он сто сорок лет в счастье, и умер в глубокой старости», жизнь – это «и родилось у него трое детей, и все от разных браков, и прожил он сорок лет в не-счастье, и умер в доме престарелых, подавившись сухариком».

«– Сорок третья квартира.

– Понял.

И поднялись они по ступенькам, и произошла у них близость без близости, после которой он ее даже не поцеловал, и она, возмущенная, выгнала его из дома своего взашей, но он не почувствовал себя оскорбленным, ему было все равно, потому что он разучился любить, потому что отныне он лишь соглашался быть любимым, изначально ставил их в приниженное положение, от чего бежал, к тому и прибежал, словом. Он опаздывал на встречи или вовсе на них не приходил, не отвечал неделями, а то и месяцами, мог написать из скуки, чтобы проверить: “Не отпустила ли, держится?”, мог насмеяться, кричать на них, наслаждаясь не столько реакциями, сколько самой ссорой – я выпускаю свои эмоции, я живой, встречаться сразу с несколькими и испытывать щекочущее удовольствие от того, что он нужен всем, а они не нужны никому, даже ему. Так и не женился, так и не завел детей, так и прожил всю жизнь, считая себя выше привязанности, на деле же до одури боясь быть отвергнутым. Снова».

Надежды бы чуть-чуть, а то оголяем жизнь, а кому хочется читать про жизнь и думать, что она не может измениться к лучшему? Читателя так и в уныние недолго загнать, а как он из него выбираться будет?

« – Сорок третья квартира.

– Понял.

И поднялись они по ступенькам, и произошла у них близость без близости, после которой он ее даже не поцеловал, и она, возмущенная, выгнала его из дома своего взашей, и бродил он по городу до рассвета, пугая встречных своим приближением и успокаивая вопросом: “Курите? Сигаретки не найдется?”, и заходил он кашлем, потому что не курил, но в фильмах показывалось: курение облегчает душу. Прогуливаясь по набережной, увидел он утку с утятами, которые, как ни подлетали, не могли взобраться на бордюр, свернул он свою джинсовку, положил ее к их лапкам, и они, один за другим, позапрыгивали на нее, а после – на бордюр, а после – с него, на траву, пробежали до воды, и ему полегчало – пусть он несчастлив, пусть не станет счастливым никогда, но он может быть нужен, может и будет».

Детали – это хорошо, они привносят в текст жизнь, но на одних деталях далеко не ускочишь, сюжета в сцене как не было, так он и не появился... Алексей выругался и назло себе написал:

«И закончил он, студент филологического, бакалавриат, и поступил в магистратуру на направление “теоретическая и экспериментальная психология”, и справился со своими проблемами при помощи оказания помощи другим, и завел собаку, левретку, допустим, левретку или французского бульдога, и в возрасте тридцати пяти – тридцати шести поехал за рубеж повышать квалификацию и... И все у него было, кроме самого главного – любви, ибо настоящая любовь случается в жизни лишь раз и либо дарует жизнь вечную, либо забирает надежду на нее. Надежды у него не осталось, но это ничего, он продолжил жить, со временем научился радоваться, не переставал восхищаться и воодушевляться, а что любовь? Ну так ведь то лишь любовь. Никаких больше “помогите, господи, помогите” и истеричного смеха сквозь рыдания, теперь только грустная усмешка и бесконечное сожаление к молодым и немолодым, лишившимся сердца, – “не плачьте, милые, отпустит, или поплачьте, милые, так отпустит быстрее, не бывает вечной боли, вечна только память о ней”».

Но ведь и здесь нет сюжета, а... Алексей заткнул своего внутреннего критика или кто это там был, заткнул и подумал, что не все в историях или жизни должно быть завязано на сюжете. Он захлопнул компьютер, выглянул в окно и спросил себя: «А любил ли я когда-нибудь?», и упал на него луч солнца: «Любил, воистину любил».